

Из других статей «Архива» заметим «Дополнения и прибавления к собранию русских народных пословиц и притчей», сообщенные г. Снегиревым; «О нравах татар, литовцев и москвитян» Михалона Литвина, перевод г. Шестакова — это сочинение очень важно; экземпляры его чрезвычайно редки, и потому г. Калачов справедливо почел за нужное вместе с переводом издать и самый текст; «Извлечения из книги Златоуст» г. Забелина, доказывающие, что в знаменитом «Домострое» очень многое заимствовано из этого сборника; «Указатель книг по русской истории, географии и русскому праву за 1849 год», прекрасный труд г. Капустина и столь же прекрасный «Указатель» статей того же содержания, помещенных в «Отечественных Записках», издававшихся г. Свинымым в 1818—1830 годах, составленный г. Афанасьевым. Оба «Указателя» дают своим ученым и трудолюбивым составителям полное право на благодарность всех занимающихся русскою историею. Кроме всего этого, в «Архиве» перепечатано «Описание свадебных обрядов у Малороссиян во второй половине XVIII столетия, сочиненное Григорьем Калиновским, армейских пехотных полков прапорщиком» и посвященное «милостивой государыне» его «матушке Харитине Григорьевне Калиновской, урожденной Рубановой, в Кролевце» — это интересное издание 1777 года теперь стало библиографической редкостью; наконец, в «Архиве» помещено несколько мелких статей, в том числе «Два акта XVII века о волшебстве», новые свидетельства «о роде и роженицах» г. Забелина и об «изгоях» гг. Буслаева и Микуцкого, и проч.

Пожелаем счастливого продолжения прекрасному изданию г. Калачова, в котором до сих пор не было ни одной статьи, не имеющей своего значения для науки, и уже помещено столько капитальных статей и важных материалов.

⟨ИЗ № 6 „СОВРЕМЕННОКА“⟩

Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Антона Погорельского. Издание А. Смирдина. Два тома. Спб. 1853¹.

Вся современная критическая литература исполнена сожалений о том, что «критика ныне слаба», что «критики ныне решительно нет». В самом деле, упадок критики — факт несомненный и очень прискорбный; но сознать недостаток — значит наполовину уже восполнить его. И, без всякого сомнения, люди, так сильно поражающиеся несостоятельностью современной критики, пишут свои статьи с целью дать нам истинную критику. А, между тем, критики все нет и нет и по напечатании, как до напечатания статей, тоскующих о пропаже критики, старающихся отыскать и возратить русской литературе погибшую критику.

Отчего же так бесполезны оказываются эти старания, так бесплодны остаются сожаления? Причин этому, конечно, много: глубокомысленный анализ для каждого явления открывает множество причин; так, один мыслитель, тревожимый в своих созерцаниях скрипом дверей в его квартире, нашел, что двери могут скрипеть от семнадцати различных причин. Почти столько же причин можно найти и для упадка русской критики в последние годы. Из них первая... но зачем говорить о первой? Лучше скажем о второй. Вторая причина бессилия современной критики — то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, мало требовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки, восхищается такими произведениями, которые едва сносны. Современная критика слаба, — этим сказано всё: какой силы хотите вы от слабости? Г. А. начинает писать плохие, лживые фарсы; читатели грустят о падении прекрасного таланта; критика находит лживые фарсы замечательными, высокими, правдивыми драмами; г. Б. начинает писать из рук вон плохие стихи; читатели с неудовольствием пожимают плечами; критика находит стихи пластичными, художественно прекрасными; гг. В. и С., г-жи Д. и Е. пишут пустые, вялые, приторные романы и повести; читатели не могут дочитать романов до второй части, повестей до второй главы — критика находит эти повести и романы полными содержания, чувства, ума, наблюдательности. Как же вы хотите, чтобы критика имела влияние на литературу? она стоит в уровень с теми жалкими произведениями, которыми удовлетворяется; как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? она ниже публики; такую критику могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах.

Такова ли была критика тогда, когда имела огромное, живое и прекрасное значение в литературе, влияние на публику? Нет, она была тогда требовательна, разборчива, смела, строга. Не говорим о недавних временах ее, которые еще в свежей памяти у нынешних читателей; нет, мы хотим воспользоваться выходом в свет смирдинского издания «Сочинений Погорельского» для того, чтобы напомнить о критике тридцатых годов, которая, со слов последующей, гораздо более пронизательной и строгой критики², считается ныне (и совершенно справедливо) довольно простодушной, поверхностною, восторженною и которая все-таки была несравненно серьезней и глубже нынешней нашей критики; пусть хоть устарелая и склонная к восторгам критика «Телеграфа» и современных ему журналов будет для нынешней примером серьезности и современности. Кроме этого, какое живое содержание может иметь ныне статья о «Сочинениях Погорельского»? Дать их оценку? Но они, как увидим, были удов-

летворительно оценены уже двадцать лет назад; пуститься в библиографические и биографические подробности? Но их заслуживают только писатели, имеющие какое-нибудь положительное значение в истории литературы, а Погорельский теперь имеет его не больше, как через двадцать лет будут иметь гг. и г-жи Б., В., Г. и проч. Нам остается поэтому только показать, что он для своего времени был тем же, что они для нашего, то есть лучшим из худших, то есть, если угодно, очень хорошим писателем, что его сочинения столько же, сколько теперь их стихотворения и романы, или гораздо более, были в свое время достойных внимания публики (за недостатком предметов, более достойных внимания), и, наконец, показать, в пример современной критике, до какой степени за двадцать лет до нашего времени серьезная критика была чужда подобострастной восторженности в отношении к подобным ему писателям.

Литературная деятельность Погорельского относится к 1828—1833 годам: «Двойник» его вышел в 1828; первая часть «Монастырки», романа, на котором основана его известность, в 1830 году; вторая часть «Монастырки» в 1833 году. Припомним состояние русской беллетристики в то время, и мы убедимся, что «Молва» имела полное право назвать «Монастырку» приятным явлением в тогдашней литературе; скажем более: «Монастырка» могла назваться очень замечательным явлением, едва ли не лучшим из всех одинаковых с нею по содержанию романов, пользовавшихся тогда успехом. В самом деле, что было тогда, кроме исторических романов Загоскина и его последователей? Но мы давно уже поняли, что русскую историю исторические романы 1830-х годов рисуют так же точно, как «Людмила»³ или «Светлана», переведенные или переделанные из немецкой «Леноры», рисуют русские нравы. Кроме того, эти исторические романы не имеют ничего общего с описаниями современной жизни, и, как бы велики ни были их достоинства, их нельзя было принимать да никто и не принимал в соображение при оценке так называвшихся тогда «нравоописательных романов». А между этими романами напрасно мы будем искать таких, которые могли бы затмить «Монастырку». Припомним замечательнейшие из них. Самый большой успех имел «Иван Выжигин» (1829—1830 г.), о чем свидетельствуют три издания в два года. Почти такой же успех имел роман г. Калашникова «Дочь купца Жолобова» (1832), выдержавший в один год два издания; «заимствованный из иркутских преданий», он имеет некоторое значение только как произведение человека, хорошо знающего Сибирь; что автор был лишен всяких следов беллетристического дарования, можно доказать уже советами, которые давала ему критика: «излагать свои сведения о Сибири в форме путевых заметок, статистических очерков, но никак не романов». «Киргиз-Кайсак» В. Ушакова (1830) ниже всякой посредственности; герой романа, бле-

стящий юноша, краса общества, счастлив неземною любовью, как вдруг открывается, что он Киргиз-Кайсак, и новый Эдип несет в пустыню свое разбитое роковой тайною сердце (! !); «Киргиз-Кайсак» соединяет в себе красоты повестей Марлинского и Полевого с красотами «Семейства Холмских» (1832), говорить о котором имели мы случай и чтение которого старинные рецензенты уподобляли «путешествию от Тобольска до Белостока»⁴. Заметим, что «Киргиз-Кайсак» имел два издания, а «Семейство Холмских» — три. Около этого же времени начали писать повести Н. Полевой и Марлинский; но они описывали «страсти», а не «нравы», или писали исторические романы, и потому их успех, точно так же как успех Загоскина, не мог вредить «Двойнику» и «Монастырке», единственными соперниками которых могли быть «Киргиз-Кайсак», «Выжигин», «Семейство Холмских» и «Дочь купца Жолобова», а произведения Погорельского, владевшего замечательным талантом рассказчика, стоят в беллетристическом отношении несравненно выше всех этих романов. Правда, и у Погорельского содержание, как и у его соперников, изысканно; правда, что и у него довольно мало страниц, проникнутых неподдельной народностью; но как мало понимали ее около 1830 года, лучше всего показывают «Повести Белкина» (1831), из которых первая, «Выстрел», описывает страшную месть и унижительное для врага великодушие какого-то мрачного, но благородного Сильвио (надеюсь, не Пелико); если Пушкин мог тогда выбрать своим героем «Сильвио», а героинею чувствительную «Барышню-крестьянку», которой могли бы позавидовать героини Жанлис, то можно ли было слишком строго требовать безыскусственной, неприкрашенной народности от восторженных писателей? Правда, в 1831—1832 годах вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки»; но они решительно не могли быть оценены тогдашнею критикою, и с появлением Гоголя должен был начаться (только уже после «Ревизора», с конца тридцатых годов) новый период русской литературы, непонятный для читателей и критиков 1828—1830 годов; а Погорельский принадлежал этому времени, предшествовавшему гоголевской эпохе. Одним словом, едва ли мы найдем около 1830 года прозаическую повесть или роман, которые были бы безукоризненнее «Монастырки» в отношении к народности, и решительно не найдем из тогдашних «нравоописательных романов» ни одного, который бы равнялся «Монастырке» в художественном отношении. Напомним читателям некоторые места этого романа. «Монастырка», воспитанница Смольного монастыря, по окончании курса едет к тетке, небогатой малороссийской помещице; вот как рассказывает она в письме к подруге и свои первые впечатления в деревне, и свидание с теткою и кузинами, простыми деревенскими барышнями:

«Ах, Маша, милая Маша! Вот уже целую неделю прожила я у тетушки в Малороссии, а все еще не привыкла! Что будет со мною вперед — не знаю, а теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям... Я воображала, что тетенка будет похожа на А***, а кухни я представляла себе, старшую, как Н***, меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р***. Как же я ошиблась в моих расчетах! Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это хваленое Барвеново... Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться! Я думала, что Барвеново хоть немного похоже на Каменный Остров... А вместо того — поверишь ли? я увидела множество домиков маленьких, низеньких: вместо кровель, на них кое-как набросана была почерневшая солома... Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно было смотреть... Улицы узкие, кривые, грязные! «Так это Барвеново!» подумала я... Из домиков выбежали дети и женщины; первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников, кадрилье красные с синим и зеленым. Они низко поклонились — мне или карете, не знаю... Мы переехали через узкую платину и через мост, который был без перил, повернули влево и въехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей; они кричали: «се наша панночка, се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама высокая, толстая, в большом мужском кофлаке и в красной стамедовой юбке; на шее у нее был накинута ситцевый платок, едва прикрывавший плечи. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка! Як же ты подросла!» Маша, не показывая никому моего письма: эта дама была — моя тетенка! Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную; она бы мне нравилась, если б не была так низка, а то мне бывает в ней душно. Вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки мои», сказала мне тетенка, «се Праскута, а се Гапочка!» Они были в утреннем наряде, то есть волосы связаны широкою черною лентою, в черных салонах, без корсетов — и в больших кожаных сапогах! Впрочем, они такие добрые! Они недурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет такой толстой, краснощекой, как мои кузины. Мы скоро познакомились; они расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы... Я забыла тебе сказать, что кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно; к обеду они одеваются довольно порядочно; тетенка носит на голове шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером, а у кузин платков довольно. и все почти новые, только талии слишком коротки, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узки...»

Скоро вслед за этими, бесспорно, недурными, описаниями, начинается и роман: Анята влюбляется в Блистовского, с которым знакомится на деревенских балах; Блистовский (не смущайтесь этою фамилиею, других тогда не бывало в романах; что касается до его бесцветной личности, то припомните Гринева в «Капитанской дочке», он оправдывает Блистовского) влюбляется в Аняту, просит ее руки; потом уезжает в Петербург получить позволение на женитьбу. В это время повеса и негодяй Прыжков — некоторые проказы его списаны с натуры, например, прожигание селитряною кислотою платьев у дам — узнает, что у Аняты довольно большое имение, начинает ухаживать за нею; не успевши в любезностях своих, он решает похитить богатую

красавицу; и это почти удается ему при помощи дяди, опекуна Анюты, глупого и ничтожного Дюндикова, составившего подложное завещание, которым отец Анюты предоставляет ему полную власть выбрать Анюте жениха... но обыкновенно в решительную минуту для романтических героинь находились (и до сих пор продолжают находиться) избавители. Возвращающийся как раз во-время Блистовский, через преданного ему цыгана Василья, узнает все проделки, разоблачает все хитрости, расстроивает все интриги и спасает свою невесту от похитителей и злодеев. Не будем слишком осуждать ухищренности и романтичности этих приключений, вспомним гениального пушкинского «Дубровского» (написанного несколькими годами позже), в котором есть и пожары, и поджоги, и похищения, и пистолетные выстрелы, и переодеванья, и таинственные свидания, и таинственная переписка через дупло старого дуба, и таинственные соглядатаи, недремлющим оком стрегущие возлюбленную своего атамана, без ведома которого не прольется ни одна ее слеза,— без всех этих препаратов не могла двигаться хитрая интрига русских романов двадцать лет тому назад; мы подсмеиваемся надо всеми их хитросплетениями, но и над нами должно было бы подсмеиваться, если б из-за этих наивных вычурностей мы стали забывать о том, что вместе с ними «Дубровский» дает нам удивительно верную и живую картину жизни и характера старинного русского богача-помещика, гремящего на всю губернию, а в «Монастырке» все-таки найдется несколько недурно подмеченных черт малороссийского помещичьего быта лет тридцать пять тому назад—достоинство очень немаловажное в романе 1830-х годов; рассказ также недурен, чего нельзя сказать о других тогдашних «нравоописательных» романах. Потому и надобно сказать, что «Монастырка» в свое время очень заслуживала благосклонного внимания читателей и справедливо была одним из любимейших тогдашних романов. Она даже породила подражания или подделки (Монастырка, 3 части, без имени автора, Москва 1833) наравне с «Рославлевым» (Графиня Рославлева, без имени автора, Москва 1832) или повестями прославившегося через три-четыре года барона Брамбеуса (Барон Брамбеус, повесть, соч. Павла Павленки, Москва 1834). Одним словом, «Монастырка» была одним из значительнейших явлений того времени, подобно романам и стихотворениям гг. Б., В., Г. в наше время, или даже гораздо более. Посмотрите же, как мало восторгается и ослепляется этим замечательным в свое время произведением тогдашняя критика, как беспристрастно и смело говорит о его недостатках, как далека она от всяких блестящих похвал и восклицательных знаков, на которые так расточительна стала нынешняя критика. Вот разбор первой части «Монастырки», помещенный в № 5 «Московского Телеграфа» за 1830 год:

«Мы прочитали первую часть «Монастырки» с таким же удовольствием, с каким читывали романы Августа Лафонтена. Тут не ищите ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения. Читайте «Монастырку» как приятное описание семейных картин, как рассказ доброго приятеля о добрых людях, которым встречались иногда неприятности. Если г. Погорельский и не сравняется с Августом Лафонтемом в разнообразии описаний и в какой-то милой простоте души, то станет от него недалеко. Сочинение нашего соотечественника должно быть для нас приятно еще потому, что в нем описываются знакомые нам нравы и обычаи. Впрочем, мы не ручаемся, оригинально ли создание «Монастырки», потому что нельзя знать всех иноземных сказок и романов, а г. Погорельский своим «Двойником» показал, что он любит заимствовать содержание для своих повестей у чужеземцев и не скрывать об этом⁵. За всем тем, искренно говорим, что первая часть «Монастырки» во многих местах написана с лафонтемовским искусством. Замечательно, что об этом произведении издатель «Литературной Газеты» (Дельвиг) возглашал несколько раз как о чем-то необыкновенном и поместил в своих листах два отрывка из оногo⁶. Автор так поторопился пожать лавры и насладиться славою, что пустил в свет одну первую часть своего романа, о которой не могут наговориться благосклонные журналисты. А когда выйдет вторая часть, то опять, разумеется, начнется говор и уверения о достоинствах «Монастырки». Но чем хуже ее «Федора», повесть П. Сумарокова (вышедшая около того же времени)? Занимательности в ней еще более. Слог ее не современный? Но неужели за то прославляют «Монастырку», что она гаденько написана? Нет! Если б у сочинителя «Федоры» были приятельские сношения с «Феохримами под душегрейкой новейшего уныния» (прозвание, которое давал Дельвигу «Московский Телеграф», пародируя его идиллии, русские песни и антологические стихотворения), то давно бы гремела молва о «Федоре» между десятками читателей какой-нибудь «Газеты». Но, видно, эта участь досталась «Монастырке» — счастье ее! Беспристрастные читатели скажут о ней только то, что мы сказали вначале: хорошо для последователя Лафонтена.

Можно было бы сухость отзыва «Телеграфа» приписать его нерасположению к Дельвигу и «Литературной Газете», но вот что сказала, по выходе второй части «Монастырки», враждебная «Телеграфу» «Молва», которая, конечно, не преминула бы выставить достоинства романа, осмеянного ненавистным «Телеграфом», сравнивавшим его с «Федорою» П. Сумарокова, если бы видела в «Монастырке» какие-нибудь особенные достоинства («Молва», 1833 г. № 65, мая 27):

«Первая часть этой книги явилась назад тому года три при громком плеске приятельской «Газеты», которая сама давно уже прекратила существование... Натурально, с противной стороны не обошлось без репрессалий (намек на вышеприведенный отзыв «Телеграфа»). Но вторая часть не выходила, дело пошло в затяжку, ревность охладела, волны забвения мало-помалу прибывали; и теперь «Монастырка» вся вполне является уже скромно, тихо, безоружно, предоставленная хладнокровному испытанию *sine ira et studio*⁷. Итак, *sine ira et studio* «Монастырку» можно назвать приятным литературным явлением. Она легко дочитывается в часы досуга. Разумеется, много можно выставить требований, которым не удовлетворяет она. Мысль представить воспитаннику Смольного монастыря, это нежное оранжерейное растение, в диком захолустье провинциальной жизни, мысль затейливая и богатая, развита очень недостаточно. Вообще, лицо Аняты, героини повести, слишком обще и бесцветно; оно не отмечено ни одною из тех характеристических особенностей, неразлучных с идеальным монастырским воспитанием, которых столкновение с грубой прозой действительной жизни могло бы доставить кисти более широкой занимательные и оригинальные картины. Ход повести

хотя не скучен, но мало или вовсе не имеет той новости, которая одна может иногда выкупить скудость содержания: он выткан на старинное бердо Дюкредюменилевской и Коттеновской фабрики. Злой опекун, подложное завещание, ночные явления, хутор в диком лесу, похищение — это узлы слишком тертые, основа давно избитая. Есть даже места, не совсем удовлетворяющие первым условиям романического правдоподобия... как могло случиться, что цыганский атаман Василий всегда попевал и являлся там, где настояла крайняя нужда? Впрочем, описание малорусского быта, составляющее раму повести, очень занимательно... Итак, вот почему, повторяем, «Монастырку» можно назвать приятным литературным явлением».

Два враждебные журнала одинаковым тоном говорят о «Монастырке» — явно, что в приговоре могли они сойтись только потому, что не было возможности не сойтись, только потому, что приговор был действительно беспристрастен и справедлив. Каким спокойным, рассудительным тоном говорят они о достоинствах разбираемого романа, какие существенные недостатки находят в нем они! Здесь нет речи об отдельных, удачных или неудачных, сценах и фразах, о мелких промахах, о «красоте» или, по нынешней фразеологии, «прелести» языка и т. д. Сравнительно критику «Телеграфа» или «Телескопа» с нынешними восторженными и вместе мелочными разборами, иногда бываешь готов видеть в ней какой-то идеал. «Монастырка» — порядочный роман в лафонтеновском или дюкредюменилевском роде, — вот холодное суждение «Телеграфа» и «Телескопа», остающееся справедливым и ныне; а между тем публика восхищалась «Монастыркою»: в каких же выражениях отозвались бы о ней современные критики, восхищающиеся и теми произведениями, которые не замечаются или осуждаются публикою? Мы сказали: критика, имевшая влияние на публику и на литературу, стояла выше посредственных произведений, была строже, нежели публика; теперь критика решительно ниже публики — какое же значение может она иметь с своими наивными замечаниями о мелочах и простодушными восторгами от всего, что только подписано скольнибудь известным именем? Нет, критика должна стать гораздо строже, серьезнее, если хочет быть достойною имени критики. Правда и то, что для строгости необходима разборчивость, и что, кто лишен разборчивости, тому уже лучше остаться неразборчиво восторженным, нежели стать неразборчиво суровым.

О земле, как элементе богатства. А. Львова. Москва. 1853.

Г. Львова чрезвычайно интересуется вопросом: «Что такое мешает успехам политической экономии?»¹ Никак не могли мы объяснить себе, зачем понадобилось рассматривать его г. Львову; но мы его должны рассмотреть, потому что ответом на него объяснится существенное содержание и направление исследования г. Львова.